

5G

пьеса в пяти комнатах*

Ангелине Рудь

Лица:

Дочь Адама

Соломинка

Морская фигура

Идеальный уж

Жертва жертвы

* пьеса написана для спектакля Семена Александровского и его Pop-up театра. По условиям дальнейшие постановки могут происходить где угодно, но только не в отеле.

Перед началом спектакля зрителям вручается конверт; или весть приходит любым иным способом.

«Позвольте Поблагодарить Вас за Любезное Согласие. Покойный настаивал на Том, чтобы Всё Происходило при Свидетелях (Понятых). И нам крайне лестно, что Вы будете одним из них и окажете Помощь, если возникнет Спорный Случай. Как Вам известно, Жизнь Человека, которого мы по Праву

могли назвать Нашим Великим Современником и Флагманом Передового Искусства, Трагически Оборвалась. Чудовищный Пожар, разразившийся в Поместье, ставшем Прижизненным Музеем Художника, слизал своими Безжалостными Языками с Лица Земли Те из Творений Мастера, что были по Своей Природе Долговечны. Все Другие — Давно Уничтожены самим Временем. Казалось бы: Всё Погибло. Но Нет! В Завещании Маэстро упоминается Одна Картина. Это Портрет Женщины. Надо ли говорить, что Картина Бесценна? Указано, что Она Хранится в Надёжном Сейфе в Швейцарии. Сейф Будет Открыт Сегодня. Ожидать СОБЫТИЯ Здесь, в Отеле, станут Пять Дам. Они Получили Личные Приглашения с Подписью Маэстро Прибыть Сюда в Этот День и Час. Относительно Принадлежности Картины в Завещании Звучит Лишь Одна Строчка:

«Картину унаследует та стерва, которая меня убила».

Здесь Речь идёт, несомненно, о Фигуральном, Образном Выражении. Искусствоведы Сходятся в том, что на Портрете, должно быть, Запечатлена Та, кто была Художнику Важнее Всех. Мы надеемся, что Само Несомненное Сходство укажет нам Путь и Сомнений Не Возникнет. Но на Случай, если Картина Абстрактна, и понадобится Расследование, мы Вынуждены Просить Вас Выслушать Истории».

Читайте, пожалуйста, эти главы в любом произвольном порядке.

ОНА-1.

Жертва жертвы

«Картину унаследует та стерва, которая меня убила». Да, это абсолютно в его духе, абсолютно. Боюсь лишь, что одна я способна оценить, *до какой степени!* Последний жест как кульминация всех бесконечных жестов. Не тех, что вошли в учебники, а тех, что оставили морщины вот здесь. И вот здесь. За что — без сомнения — компенсация необходима самая ощутимая. Именно этим он и занимался всю жизнь, — вот в чём дело. Именно этим! Жёг всё, что вокруг него было живым. Так что пожар в поместье (в моём поместье — замечу в скобках) — это не художественный акт. Это акт мудака. Закономерный эпилог. Торжество жанра. Вот только вся эта затея с картиной... Мне безразлично, какую из своих шлюх запечатлел на ней мой

сумеречный гений между нарциссическим припадком и очередным любовным пароксизмом. Я опротестую завещание. Всё, что он спалил — не просто совместно нажитое имущество. Это *моё* имущество. От А до Zet. И я готова доказать это в суде математически. Так что пусть его алчные Золушки не раскатывают губ. Примерка туфельки не состоится.

Бо-же-мой, бо-же-мой. Он опять всех надул. Как успешно: все восхищаются и проливают горючие слёзы. Над тем, каким ярким последним факелом вспыхнула его бесценная, его неоценимая жизнь. А что мою единственную жизнь он столько лет сжигал на ме-едленном огне, ме-едленно проворачивая шампур... — ? Причём так элегантно: не глядя... одной рукой, одной рукой! Потому что другой он или создавал очередной шедевр, или лез кому-нибудь под юбку. А частенько сочетал и то, и то.

Вы знаете, как мы с ним познакомились? Мне было десять лет. Нет, не подумайте, ничего противозаконного. Всего лишь надломленная у самого корня жизнь. Фальшивые рекомендации он раздобыл через кого-то из тех идиотов, которые бесконечно пытались его спасти. Или идиотов. Скорей всего, какая-нибудь племянница профессора из Академии Художеств или что-то вроде того. Я никогда не унижалась до того, чтобы спросить. Так или иначе, его шутовская маскировка сработала безукоризненно. Запах краски почти отбивал запах тела, которому доводилось ночевать тогда по каким-то притонам, чужим мастерским и чуть ли ни портовым докам... *Почти*, да, почти. Я полагаю, остаток мои родители приписали некоторой рассеянности из-за чрезмерно усердной работы. А красный вязанный шарф и берет — о, что за насмешка! — идеально соединял его образ с шаблоном. И то, и другое он надевал на крыльце. На крыльце! Сыграло роль то, что мои родители в своём аристократическом кругу не соприкасались с художниками. И их представление о необходимой живописцу эксцентричности было несколько огульно. Самый грубый, самый пошлый грим оказался самым эффективным.

Я сказала: «соединяло с шаблоном». С шаблоном безобидного растяпы за мольбертом. Безусловно! Для них. Но не для меня. Я — с листа стала читать в его глазах всевидение, в его жестах — надломленность, в походке — роковую обреченность; в его манере класть ноги на стол — гениальность. Кляц! Клетка захлопнулась. Да, думаю, в первый же день маленькая десятилетняя герцогиня возглавила когорту тех, кто спасал и спасал его раз за разом, не успевая удивиться ни неблагодарности, ни тому рассеянному взгляду, который он частенько из своей баснословной задумчивости вдруг на вас *бросал*. Взгляд этот как бы говорил: «А..... кто ты?». Иногда я готова была его за это убить. «А..... кто ты?». После двадцати пяти лет, так сказать, совместной жизни и служения. Как вам такое, а? Да, несомненно, я

возглавила когорту. За что и поплатилась — дура. А он и ухом не повёл. Он был тогда решительно нищ и во всём разочарован. Известен в богемных кругах, но неприкаян, как подвальный кот. Высокомерная гримаска неудачника начинала серьёзно портить его черты, въедаясь в кожу. Он презирал признание, но без признания ему было уже не протянуть. Он бедствовал.

На меня он не обращал никакого внимания. Над роскошью библиотеки, где мы занимались, — в голос хохотал. «Эти книги — несчастнейшие из книг — их никто никогда не прочитает». Я прибегала туда каждый вечер и вгрызалась в одну за одной, не разбирая смысла, — чтоб только доказать обратное. Знаете, какая у него была манера? В конце занятия прилеплять к доньшку кресла одну из тех американских жвачек, которыми я угощала его вначале. Отвратительно? И это с учётом того, что заработок, который он получал в нашем доме, был его единственным заработком. Отвратительно? О, да. Как я соскабливала эти жвачки! Как складывала их в особый ларчик. И... то, что вы подумали, — тоже да. А что вы хотели? Мне было десять, я была влюблена. Маленькая герцогиня! Да, я дожёвывала за ним жвачки — я скажу всё. И знаете почему скажу? Я признала все свои ошибки. Ошибки иссушающей любви. Ошибки жертвенности и жертвы. Там, где была моя слабость, теперь моя сила. Я могу себе это позволить, и позволяю. Вот так. Это я ему показала этот опыт с исчезновением. Его первый успех — это я. Я нечеловечески хотела произвести на него впечатление. Никаким прилежанием этого было не достичь. Он великолепный рисовальщик. В его искусстве это не всегда пригодилось, но рисует... рисовал он и правда блестяще. Однако же как педагог он полный ноль. Такого бездарного учителя — поискать. Я могла целыми днями упражняться к уроку. Думаете, он хоть раз отметил результат? Кстати, скажу вам, есть одна сумасшедшая... Совершенно несчастная и совершенно безумная особа. Я могу предъявить пачки её писем, адресованных ему. Когда-то она прорывалась к нему со своими рисунками. Он пролистал рассеяно и отпустил пару ядовитых замечаний. Так она после этого совершенно сошла с ума. Одержима тем, что он одержим ею. Был одержим... Ничего этого не было. Половину жизни эта бедная особа провела в лечебницах. Её, кажется, и сейчас выпускают только под надзором, и не удивлюсь, если в другой комнате её номера дежурит медсестра... Впрочем, я отвлеклась. Так вот.

Маленькая влюблённая герцогиня. В этот день она задёрнула шторы в библиотеке. Сказала ему, что хочет сделать сюрприз. Патентованное отсутствие реакции. Маленькая герцогиня рисовала с задёрнутыми шторами, потом... Потом подозвала его. И не успел он подойти, как сорвалась и

ринулась, дёрнула одну из портьер... Луч света упал на мой неуклюжий рисунок. И рисунок зашипел. Я добавила в краски состав, который мне привёз дядя в наборе «Le petit chimiste». «Le petit chimiste»... Картинка вспенилась, скукожилась и умерла. Тогда я впервые увидела его таким, каким до этого только... пред-видела. Не скучающим люмпеном с ногами на столе, а Художником, настигнутым Идеей! Он стал говорить. О том, что это *исчезновение*, это *самоуничтожение* сочетает в себе два пласта смыслов. С одной стороны, это оммаж старым мастерам, лучшим из них, тем, что были экспериментаторами. Тем, что меняли состав красок и, иногда, краски начинали блекнуть. Точней — чернеть. В случае неудачной формулы. Шедевр уничтожал сам себя, как будто этот мир был недостаточно хорош для этого шедевра. И никак нельзя было помешать. А с другой стороны — это удар под дых капитализму. Ведь всё, что он делал тогда, было настолько *вне рынка*. Его работы, его жесты доселе были слишком ни на что не похожи, чтобы найти способ их продать. Он, с его мастерством, в любой момент мог написать обыкновенную картину, которую бы купили, но это значило бы сдать; капитулировать. Он не хотел становиться товаром. Не хотел создавать товар. А тут... Всё сошлось. Картины, которые уничтожаются светом. Вызов обществу, не товар, а плевков. И общество заплатит за эту издёвку. Картины, которые продаются в чёрных ящиках. Картины, которые можно купить, но нельзя увидеть. Сама слепота. Можно подпалить их лучом света, как бенгальский огонь. Вскрыть, как бутылку шампанского. И смотреть на их смерть, но не жизнь. И почувствовать не тщеславие владыки, а грусть. Просто грусть человека. Прикоснуться к тлену. Не товар, о, это не товар. Они будут покупать не картины, но свою беспомощность. Вкладывать деньги в смерть и пустоту. Быстротечность. О, такое не стыдно продать!..

.....Он говорил, естественно, не мне. Он забыл о моём существовании.

Больше он не появлялся. Кто-то другой ему помог... Ввести всё это в моду. Я читала в журналах о его успехах на аукционах. Аукционах средней руки, но нули уже были в суммах.

Потом я училась на экономиста. На юриста, на рекламиста, социолога, психолога, искусствоведа... За пять лет в университете я набрала все курсы, которые смогли бы мне помочь. Родители диву давались. Какое рвение! Интересно, с чего б?... У девушки, у которой и так было всё. -Всё, кроме него! После его исчезновения я стала расчетлива. А какой мне оставалось быть? Я ждала. Я знала, что пока он на одной из своих вершин, он не взглянет на меня. Ну, может быть, взглянет на одну ночь. Но это не то, что мне было нужно. Мне было нужно вести его через жизнь... Я ждала, пока идея бенгальских картин исчерпает себя. Или надоест ему самому. Пока он

растранжирит все деньги. Не так уж долго было ждать. И тогда я пришла к нему. Пришла со всей своей любовью, всей своей жизнью, всем своим приданным сейчас и наследством в будущем, со всеми связями; и со всеми навыками. Он меня, ну конечно же, не узнал. («А... кто ты?»). Утром я сделала ему предложение. Я сказала, что дом, который он построит в моём поместье, может быть любим. Он сказал, что всегда бы хотел жить в огромном аквариуме. Дом в виде аквариума... Тогда это было в новинку. Дом-аквариум. Сколько раз я билась в это стекло изнутри и снаружи. Птицей, рыбой, бабочкой, маркетологом... Я сказала ему, что отныне он сможет делать всё, что хочет. Любое безумие. Моих навыков, моих связей и моей любви хватит, чтобы это продать. Нет-нет-нет-нет, тебе не надо больше об этом думать. Не надо ни о чём заботиться. Т-сссс! Ты согласен? Ты же ведь согласен? Нет-нет, родители нас не проклянут. Ты согласен! Как я счастлива! А ты... когда-нибудь... ты, может быть, напишешь мой портрет? ...Я не знаю... двадцать пять лет жизни. Я не знаю.... Сорок лет любви. Я не знаю... а может быть, может быть, может быть... всё-таки я там на том портрете? В порядке эксцентричности. В порядке фиги. В порядке очередного плевка. Ведь справедливости никто не ожидает. А то, чего никто не ожидает, — это же и есть его конек! Может быть... может быть, всё-таки я?...

ОНА-2.

Морская фигура

Курортный роман — это пошло, да? Вы, может быть, так подумаете. Я вам отвечу: ничто не пошло, если с ним. Если с ним — ничего не пошло. Мы встретились между морем и сушей. На кромке моря, на самом-самом краешке. На закате. Я была босиком. На белом песке. Съели? И не было пошло. Ни вот столечки. Только вот он... он был настолько уставший... То есть, поймите, это не была усталость от трудного дня, трудной декады, трудного квартала, трудного года, трудной жизни, усталость от женщины, женщин, от семьи, от работы, отцовских забот и сыновних забот. От города, от деревни, от болезни хронической, от своего тела. От физической пахоты, тайны, дороги, работы ума, депрессии, старости, бесконечных вопросов к себе. От всего этого вместе. Нет. Это была — мне неловко сейчас — усталость Атланта. Не больше, но и не меньше. Атлант, сдавший вахту, — на

сколько, на сколько минут? Я взглянула на него и подумала: господи, у него нет времени разогнуться. Нет памяти разогнуться — просто вот так вот вот здесь распрямиться — нет мышечной памяти тела. Как устал. Или это Сизиф? Или это апостол Андрей? Как устал.

Зачем я всё это думала? Я ждала мужа со дня на день. Я как раз вышла замуж недавно. Нет, мой муж он ничего, мой муж — вовсе не пуританин. Не ревнивец. У нас XXI век (это было вначале XXI века). Просто... глупо. Я смотрю на человека, может, вдвое (а может, и втрое(?)) старше меня, бредущего по краю воды, и думаю о том, что мои руки созданы, чтобы просто снять усталость с его ключиц. С его *трапециевидных мышц*. Вот мои пальцы — они к этому предназначены. И вся я сама. Э-э-э... Это странное ощущение. Я-то совсем к другому себя готовила — с колледжа, да и вообще. Не к тому, чтобы раствориться в человеке, бредущем по краю воды, раствориться, как диск аспирина. Я же не массажистка какая-то, в конце концов! Но я так чувствовала. Мне хотелось стряхнуть наваждение. Но он шёл навстречу мне. А я навстречу ему. По пустынному краю воды. По песку. Столкновение неизбежно. Почему оказалось (казалось?), что это одна колея? Солнце било мне в спину. Я видела его во всех деталях, но от солнца оранжевым; он — он видел силуэт. Мы сближались, сближались, сближались... Да, ну вас всех к чорту. Что я могу поделать, если это было так. Это было, как в мифе, ведь может бывать и как в мифе.

Он говорил потом: «Мы с тобой будем встречаться только в прибрежных городах. Только в прибрежных городах, и никогда под снегом. Никогда зимой, — только весной и осенью, и в июне ещё». Так потом говорил, а тогда — просто шёл ко мне. От усталости. От усталости — шёл ко мне, из усталости. Как в детской задаче. Из усталости в пункт Я вышел Он. И тогда я остановилась. Я подумала: не свернуть — о'кеу. Я подумала: побежать назад — слишком глупо. Что ж... Что ж... Но могу же я остановиться. Замедлить столкновение... Посмотрим. Его ход. И я стояла и стояла и смотрела.

В детстве меня завораживали шахматные фигуры. Те из них, у кого была талия — мне-казалось-талиа. Мне казалось, они прямо созданы чтоб кто-то взял их и переместил. Галантно, но властно, уверенно, непобедимо. Как на танцах: ложится мужская рука — на талию — всё прилично. Просто ложится рука, а внутри разверзается, а внизу, там внизу разверзается океан. И переносит, переносит, переносит... Будь я Папой Римским, я бы запретила... нет, не океан. Будь я Папой Римским, я бы запретила талии. Хорошо, что я не он.

А те фигуры, у которых её не было (ну, конь там, ладья) — а те фигуры, у

которых её не было, я не понимала, что делали на доске. Мне казалось, они не назначены, формой своей не назначены для того, чтобы чья-то рука, чья-то рука просто брала их и переносила из одной клетки, из одной жизни в другую. Из жизни А в жизнь Б. Из момента До- в момент Необратимость. Свою талию тогда, идя по краю моря, я чувствовала под летящим паром *так*, как будто Бог возьмёт меня сейчас между шершавых пальцев, и переставит в другой мир. Где будут, возможно, микстуры на тумбочке и утренний кашель, и колючая борода... но это будет мой мир — ничего не поделать. Мой мир. Я ещё не знала, что нет, не микстуры совсем — формалин, глицерин, и секретные компоненты. ...Из жизни в цементном мегаполисе, которой я принадлежала, в жизнь залитого солнцем кино, где был он. Да, грустного, грустного. И всё же... Да, он шёл будто по краю киноленты. Он как раз занимался морем тогда. Морем и краем.

Вы, конечно, знаете эту серию его работ. Он подбирал (подбирал, подбирал, подбирал) мёртвых морских животных у края моря. Были наняты люди, конечно, но и сам подбирал. И обессмерчивал... обессмерчивал их тела в изумительных позах. «Чучело» — у меня не поворачивается язык сказать так. Чучело дельфина? НЕТ! Он — потом — помещал их в специальные аквариумы, в специальный раствор... залитые солнечным светом, эти сосуды были как вырезанные кубы океана. Представляете комара в янтаре? Так представьте морскую звезду в морском кубе. Специальные механизмы создавали движение внутри. Рябь. Щупальца двигались, плавники трепетали. Это была сама смерть, потому что так страшно похоже на жизнь. Но он говорил, что это про время. Про то, что глядя на смерть созданий, которые древнее человека на миллионы лет... Как же он это говорил... Созданий из другой среды, которых выбросило... которых перенесло в наш мир посмертно... В буклете было написано так красиво, но у меня нет с собой... Там было что-то о том, что это как взглянуть в глаз Горгоны. Приблизиться к смерти, ещё не осмысленной человеком. Через эти тела, через эти фигуры... К смерти, как таковой. К древней смерти и к самому краю.

Я была на той выставке — ну, конечно, была. Она проходила в соборе Саграда Фамилия. Белые стены и отсветы витражей на них — как синяки. Он говорил: как синяки. Недолговечные, зыбкие. Знаменующие саму жизнь. Скрылось за облако солнце там снаружи, и синяк прошёл. Исцелилась белая кожа. Вышло, и снова — как след от пощёчины. Белые стены, синяки витражей и кубы, кубы, кубы, кубы моря без края. Эти трепещущие морские тела казались мне, да, фигурами, заточенными в своих клетках. В клетках, в квадратах, которые доросли до кубов. Обрели дополнительное измерение. Получили объём и пленили свои фигуры. Нет больше шанса никуда перенестись. Морские шахматы. Осьминог так похож на пешку. Круглая

голова... Это смерть не дала ему вырваться или отсутствие талии? Может быть, руке Бога было просто не за что схватить? Рука Бога скользила? Щупальца зыбились, колыхалась вода. Синяки вспухали и проходили. Я ходила, как замороженная, мысли путались. Там... там ещё был один экспонат. Одна работа... Я ведь недорассказала.

Я остановилась. На краю моря, на краю суши, на границе, на краю, я ждала. Перенесения в другую жизнь, другую клетку. Залитый оранжевым, он шёл ко мне. Приблизился, и — и он стал на колени. Усталый Атлант ли апостол Андрей? Одно колено в парусиновой штанине мокло в море, другое — пачкалось в песке — что может быть нелепей? Наклонился. Он наклонился к моей ступне. Поцеловал. Он сказал: «Я понял». Следующий кадр: небольшой приморский город. Мы ищем гончарную мастерскую или что угодно. Я даже не понимаю зачем. Следующий кадр: не нашли. Мы скупаем гипс в аптеках. Я даже не понимаю зачем. Следующий кадр: тазик с разведённым гипсом. В квадрате солнечного света из окна. Он сказал: «наступай в него»...

Следующий кадр: другой кадр, другой мир, другой год, другой город. Он держит меня за подбородок. Он вертит мою голову в свету. Меня охватывает ликование. Мне кажется, что сама моя голова — голова пешки. Никаких мыслей — мысли в других краях. Деревянный шар. «Изумительно, — слышу его слова сквозь деревянную оболочку, деревянное содержимое, деревянную сущность собственной головы; сквозь лаковый череп, — изумительно, совершенно». «Ну, конечно, ведь шар — совершенство», — думаю я где-то там, сквозь деревянную оболочку, деревянную суть, под лаковым своим черепом, черепом шара. «Дай поцелую. Дай поцелую. Ты мой лучший осьминог. Ты мой лучший осьминог, детка».

Отныне я его фигура навсегда. Вот-вот меня властно возьмет его рука, я вознесусь, перехватит дыхание; и он перенесёт меня в другое место. Где другое море, другие горы, другие фрукты, другой язык. Властно! Это немного похоже на то, как птица хватает добычу, поднимает с земли... Но нет, нет не страшно. Я взметнусь, но вот снова на твёрдой поверхности. И он возьмёт меня за подбородок. Повернёт деревянную голову в свете луча, у окна. «Изумительно... совершенство».

Мы ничего-ничего-ничего не требовали друг от друга. Никогда. Он присылал мне билеты. В аккуратных конвертах — совсем как этот, последний. Тот, что пришёл с приглашением сюда. Он перемещал меня. Да, я держала в руках конверт и чувствовала, что вот-вот взмою. Я придумала для мужа нервную болезнь. Необходимость лечиться, необходимость менять обстановку. Но обстановка была всегда одна и та же. Развороченная кровать. Огромный стол, заваленный его работами, его телами изумительных морских существ,

морских фигур... Моё лицо, которое он поворачивал у окна в луче света. Разными были лишь моря, горы, фрукты, языки...

Так вот: тот экспонат, тот оттиск моей ступни, — он тоже был на той выставке. Волна набегала, набегала на белый песок — искусственная волна, настоящий песок, настоящий оттиск. Настоящий оттиск моей ступни проступал сквозь песок, когда отбегала волна. И это было... это было... как он говорил? Это было измерение человеческого.

Да.

Да.

Да. «Всего/лишь».

На одну из наших годовщин он послал мне сенбернара. Сказать, что муж был в шоке — ничего не сказать. Сенбернар был взрослый и огромный. Я боюсь эту собаку до сих пор. Муж гуляет с ним. Чрезвычайно привязан. Он лижет мужу руки, и я думаю: «Видит Бог, не ему предназначены эти ласки».

...Ребёнок, которого я обнаружила в себе, был, несомненно, от мужа, от мужа. Я хотела назвать в *его* честь, но УЗИ показало: девочка.

В ответ на письмо с билетами я написала ему: «Прости. Я вернулась в свою клетку». Приложила снимок того, что было внутри меня.

Он ответил мне: «Я напишу твой портрет».

«Я напишу твой портрет». Вот и всё. Вот и всё. Он писал его долго.

Последняя работа!

Я убила его! Но разве же я могла угадать, что он без меня... Что он без меня... Что не сможет... Никогда не прощу себе! Никогда не прощу себе, что убила его, что там я на портрете.

ОНА-3.

Идеальный уж

Он пахнул уже гаденько, когда судьбе угодно было представить нас друг другу — — посреди Средиземного моря, в дымке тумана цвета молодой спермы, который застилал линию горизонта и скрывал от моего взгляда второстепенных действующих лиц. Я вас не шокирую?

Сам он, безусловно, не был второстепенным, но второсортным... второсортным — да. На мой взыскательный вкус, разумеется. Запах неброский, но весьма приторный. Да, тянулся за ним этот шлейф... как это передать вам?... переспевшей славы. Как описать этот вид, этот вкус, эту

текстуру лопнувшего плода... В волокнах слегка вязнут пальцы... Сегодня вы ещё можете скормить эту мякоть не слишком притязательной куртизанке, но завтра — завтра над ней уже будут виться мухи. Над мякотью... Над подгнивающей мякотью... Вы со мной? Я попросила бы вас не только смотреть в декольте, но и слушать. Раз уж вы пришли. Да. Это было бы очень любезно.

Подобный душок неизбежно тянется за человеком, который добрую половину жизни ниспровергал, а потом... А потом ниспроверганья его угодили в учебники. И на престижные аукционы. ...И стали пухнуть диссертации о том, как-он-ниспровергал («о, как-он-ниспровергал!» «как никто!», «как никто!» Как Кокто! Тьфу. *(как будто на миг прокололась; но лишь на миг.)*).

И истреблял;

и обрушивал;

испепелял и воспламенял;

и высмеивал;

был готов, как термит, изрыгнуть челюстями всё-всё, что сделано до него. Словом... взрывал бомбы в чревах китов (образно говоря: уверяю вас, я — только образно — я стопроцентно гринписфрендли; шучу; я чрезвычайно плотоядна; я запутала вас? соберитесь)... Словом-словом-словом-словом: он был вне закона, крушил закон. А после — вот ведь чорт же — стал законом. Время его догнало. Вошёл в моду. На сей случай вообще-то человечество сочинило браунинги и передоз. Чтоб уходить вовремя. Но он предпочёл дотянуть до... сколько там ему было? восемьдесят с гаком? девяносто? — не мне вести счёт. Скажу проще: до состояния ископаемого. А уж если ты соглашаешься жарить себе наутро с беконом свой вчерашний бунтарский дух... и отоваривать его в ближайшем бутике Roll's-Rouca... (марка старомодная, но он же и сам весь воплощение XX века)... Если уж.... Что? Мне, должно быть, послышалось? Кто-то шепнул, что те же обвинения мне стоило бы обратить на себя? Ну, нет. Я — никогда не была пиратом. Пиратом, смутьяном, проходимцем, Святым Себастьяном святых катакомб авангарда — ну, нет! Я — художник другого сорта. Я — радикально другое. Я — в отличие от него — не щеголяла ни пролетарским происхождением, ни пролетарским невежеством, ни благородными вшами, ни благородной несвежестью своего белья. Jamais! Я всегда была тем, что я есть — по masks. Я — ничего не свергаю — это дурной тон. Я — в моду не входила. Я делала моду. Я указывала пальцем, и говорила: вот здесь. Вот здесь будет хорошо смотреться моя работа. Будь то самолет медиамагната, музей Помпиду или Букингемский дворец... — *вот здесь*. Я равна себе. Я пахну всегда собой. Мой аромат носит моё имя. А не наоборот... А этот особый оттенок, особый

душок... прижизненной славы того, кто славу своей молодой слюной так старательно и так долго заплёвывал... Это похоже на запах старого бухарского халата... бархатного халата... или нет... нет! *Муарового илафрока*. С чужого плеча. На дряблой коже в прокуренном палаццо; где прислуга подворовывает по карманам — распустилась; а канализация последние четыре века исправна не вполне.

Так вот всё *это* вкупе и предстало передо мной на палубе лайнера «Асмодей» молочной ночью одного из моих апрелей.

То есть — не подумайте (о, как вы рассеяны). Разумеется, нет. Он, разумеется, был не в шлафроке. Он был в соломенной шляпе за пять евро и в крокодиловых туфлях, каждый из которых ценой своей походил на в меру подержанный автомобиль представителя среднего класса. И, естественно, в одном из этих костюмов, призванных оцарапать ваш зрачок. (Не мой. Мне — было решительно безразлично; к тому же туман смягчал очертания). И, естественно, с декольтированной девочкой в каких-то смехотворных перьях. Худенькие плечики неопытной пловчихи так вздрагивали... так подёргивались. О, мой, бог. Сама наивность и невинность, но строго 18+. Как выяснилось к следующему полудню, у неё было обыкновение демонстрировать на айфоне фотографию фотографии из журнала middle-class, где она успела сняться в безальтернативно неидущем к ней красном. Всё, что она носила, включая духи и заученную улыбку, хотелось немедленно сжечь.

Я же тогда —

носила только шёлк и мех; и только на голое тело. И только «Жак Фат Эллипс». Вот и всё.

Хитрость любого выигрышного описания, ровно как и хитрость любого выигрышного появления в том, чтобы смотреть глазами постороннего мужчины. Постороннего вождеющего мужчины, равно искушённого и изголодавшегося. В идеале — обуздывающего себя. Скажем, молодого офицера или даже нет — учёного антрополога, который возвращается из опасной экспедиции. Он овеян славой и изнывает от верности своей розовощёкой невесте — прямо лопаётся по шву. Невеста ждёт его дома и вышивает на пальцах. Да, идеальный вариант.

Так всегда и должна выглядеть женщина.

Будто ей сзади прямо сейчас между лопаток выжигает взглядом клеймо молодой красавец-антрополог, *сполгода* хранящий верность глупышке-

невесте. Вот до этой вот самой секунды хранящий. Хранивший. Да, именно так. Это чрезвычайно благотворно влияет на осанку. И на всё прочее. Но я отвлеклась.

Маленький славный агатовый ужик Максимилиан — чуть не забыла. Да, он составлял мне компанию в то время, извивался вокруг запястий, обожал преклонить головку на кончике мундштука, был так близко и так холодно... О, это искусство, подвластное только истинным сердцедам, идеальным любовникам. Особый род холода, как азотовый дым...

Бедняжка: его склевал альбатрос потом. Ужа. Не любовника. Вы следите за моей мыслью? Или поток образов вас уже поглотил?

Идеальный *уж*, так же, как идеальный любовник (тот, по кому вы будете кусать свои губы, лежа в последней своей постели) обладает особым искусством. Быть ближе к вам, чем вампир, припавший к артерии. И всё же... оставлять тонкую — как папиросную бумагу — завесу отстраненности. Чем тоньше, тем больней. (С любовницами — то же, разумеется). Вы сойдёте с ума от того, что не сможете прорвать эту прозрачную вуальку, ленивую поволоку. Вы готовы будете отдать за её уничтожение всё своё состояние, своё доброе имя, свою свободу, свою кровь. Она будет являться вам в кошмарах. Так близко. Так близко. Так близко. Но так холодно.

О, бедный Максимилиан. Не стоило ему в грядущий полдень уползть в тень бокала. Хотя... его можно понять. Зной. Он так извивался в клюве взмывающего к солнцу альбатроса.... Не чокаясь.

Я раскрываю сегодня подозрительно много тайн — скажете вы. Но тайны никогда не были для меня предметом торга. У него всегда была масса идей, и что? Где они теперь? Пепел. Сам замысел — ничто. Воплощение — вот искусство. Быть непревзойдённой в воплощении... Непревзойдённой!

Может быть, вы усмотрите некоторую пародийность, некоторую искусственность в этих образах века-роскоши-для-избранных, перенесенных в наш демократичный век. Но важно ли мне, что вы думаете? Думаю, вы можете угадать ответ. За вас! (Тост.) Да, мне неважно, но я рада вам. Я готова положить вам свою «исповедь» на язык, как пьяный пряный леденец во время поцелуя — раз уж мы застряли здесь. Пусть он истает. Художнику нужен зритель. Леденцу нужно истаять. Растечься в красный вязкий сироп. Время пошло. Без зрителя он — лишь никчёмная льдинка. За вас! Тех, кто раскусывает исповеди и леденцы.

И неважно, что звучало у меня в наушниках — Маллер или Мобби. Уж стекал в декольте; под манто меж лопаток горело — кавычки — клеймо. Дым

сигареты мешался со спермой тумана (впрочем, сперма никогда меня особенно не интересовала; я всегда предпочитала мясо понежней). ...В ту пору только отгремела выставка моих работ в МОМА — писанных мной ногтями по холстам спин, по спинам холстов... Некоторые — фотографии, некоторые — живые модели, некоторые, скажем так: образцы ДНК... Много селебритис, много иероглифов крови. Рассказываю на случай, если вы не в курсе трендов. Не думаю, что он был в курсе. Собственная слава клубилась вокруг него, как едкий дым, и резь в глазах мешала видеть тех, кто пришёл ему на смену. Да, он не знал и не узнал меня. Но взглядом впился так, что я, казалось, услышала щелчок капкана на его горле. Я подавила зевок. Он едва заметным жестом подозвал кого-то компетентного из своей свиты — тот прошептал ему на ухо. Незнание было устранено. Он двинулся ко мне, рефлекторно продолжая сжимать свою хрупкую спутницу, которая, строго говоря, спутницей в этот миг уже перестала быть. Он предложил к моим услугам свою спину. В галантных выражениях, приправленных устаревшим жаргоном. Я подавила зевок. Максимилиан в свой последний вечер был особенно резв под шёлком. Под левой грудью. Я наслаждалась паузой. Девочка улыбалась так натянуто. Я наслаждалась. Я

указала

на неё.

Да, глаз не подвёл меня: отмытая, в махровом белом халате, она была хороша. (Первозданной чистоты халат. Без тени запахов). Да, она была хороша. Умеренно, но хороша. Путешествие прошло приятно. Но были ночи, когда он — разумеется снаружи — царапал дверь моей каюты, как пленённый кот. Предоставить вам его пачки писем ко мне? Рассказать, как он меня преследовал? Как не пропускал ни одной выставки? Как подкупал моих любовниц, любовников и мужей? Как нанимал частных детективов (они делали бесконечный фотографии, с которых он писал наброски; наброски к картине. Полагаю, когда он завершил её, жизнь потеряла для него смысл). Рассказать это всё? Как прислуга спускала собак?.. Он бесповоротно свихнулся на мне в ту ночь — вот всё, что я могу поведать, собственно. А доказательства? Не мне их предъявлять. Не мне их предъявлять. Вы найдёте их на портрете.

ОНА-4

Соломинка

Я не понимаю, почему я здесь. Мы с ним просто один раз застряли в лифте. Вы знаете, что это за лифт? Это был не внутри-который-лифт. А снаружи небоскрёба. И прозрачный. Вы извините, я иностранка, мне трудно. То есть я давно здесь живу, давно говорю, но... это не мой язык.

Был вечер. Шёл снег. Снег. Мы были двое, и мы ехали вверх. И лифт как-то так тррррр — и остановился. Вот.

И очень странная позиция. А снег всё падает, падает. Я в первый раз поехала в этом лифте. Потому что в этом здании есть ещё обыкновенные, обычные лифты. И все ездят в них. И я ездила. А этот как будто аттракцион. Но — как это говорится — для любителя. Я посмотрела на него, на своего соседа в лифте. И как раз подумала: вот, типический любитель. Я запаниковала. Нет, не из-за него. Не из-за того, что над городом ночью, и что падал снег и от него кружилась голова. А мы — ну, понимаете, — висим. Не из-за этого. А потому что как раз я ехала к своему психоаналитику. Её офис был на 47. И вот. А я прекрасно знаю это чувство. Вы знаете это чувство? Когда вы, например, едете, например, на йогу, и у вас очень тревожный день, и вы чувствуете, что подбирается к вам что-то такое нехорошее, и вы думаете: нет-нет-нет! «Нет-нет-нет», — думаете вы. Вот я сейчас приеду, и позанимаюсь, и меня отпустит. И как будто уже предчувствуете в своём теле ту будущую лёгкость. И как будет приятно, что отпустило, что *отпустило, а не схватило* вас. Да! И тут вы попадаете в пробку. И, вспененная, прибегаете... через три минуты после начала занятия. И вежливый администратор говорит вам... (*разводит руками.*)

И вот вместо того, чтоб чувствовать приятную лёгкость, облегчение, вы уже размазываете тушь в баре, и... какая бишь это текила? Четвёртая? Пятая? И... а какого же дьявола вы смотрите опять его профиль в фейсбуке? Или — хуже того — профиль его нынешней?

Вам незнакомо это чувство? Действительно? Вы никогда не попадаете в пробки? Или вы не склонны к депрессии? Ладно, что это я? В общем... к моему психоаналитику в тот вечер мне правда сильно надо было. Я уже три дня настолько остро ждала сеанса. Но... Но я в лифте. Постучали. Понажимали на какие-то кнопки — тишина. И тогда он сказал что-то около того, что ему везёт. Что ему везёт встречать интересных женщин в красивых местах всегда. Или он сказал «важных женщин». И ещё что-то около того, что сам он портит вид, и если б я одна стояла в этом освещённом лифте, то я, скорей всего, напоминала бы с улицы соломинку в стакане. И что он всегда считал стекло наилучшей рамой, наилучшим — как это? — обрамлением. Потому что оно как будто вынимает объект из реальности. И что-то ещё про

песочные часы... И тогда я сделала так: *(делает что-то эксцентричное.)* Я сделала так и закричала: «Ааааа». Я сделала так и закричала: «Ааааа», закричала: «Ааааа», потому что меньше всего в этот момент я хотела получить вместо облегчения, дурацкую речь какого-то придурковатого ловеласа. И мне настолько захотелось в эту минуту выпустить свой гнев, бессилие и протест, что я сделала так, закрыла уши и закричала: «Ааааа».

Мне очень надо было к психоаналитику. Мне очень надо было к психоаналитику. Как объяснить? Ну, вот пример. Я сижу на одном форуме. Матерное слово в изысканном названии и строгая модерация отсекают с него пуритан и дураков. Там люди делятся своими любовными болями. Чем больше я читаю их, тем больше понимаю, что они все про одно. Вот рассказывает девушка историю. Как познакомились. Как ничего не было. Как потом переписывались. Границы, границы, границы, слова. Сначала привязанность, потом — ещё сильнее привязанность. И вот одолели границы. Перемогли границы, и вот. Несколько дней и один номер отеля. В каком-то нейтральном городе. И вот кровать — как плот; и вот. И всё хорошо: и прекрасный секс, и прекрасный секс, и прекрасный секс. И в промежутках тоже всё прекрасно. И вот — в предпоследний день — она спрашивает у него что-то вроде: «А ты будешь сильно по мне скучать?» И у него (я прямо это вижу) сужаются зрачки, и он начинает нервничать, быстро ходить; и завязывается какая-то неприятная, неправильная, правильная ссора. И вот оба психуют, и в итоге он — берёт другой билет и улетает на день раньше. Но! Он почти сразу начинает писать ей, что «прости меня!» Что: «прочти меня, я испугался». Что думал: лёгкий роман, как собственно, кажется, и она думала. А потом вдруг... и вот в этот момент... сам почувствовал, что действительно... что, похоже, это большое чувство... и он, действительно, будет, похоже, так скучать... что не сможет без. А зачем ему это? Они ведь в разных странах, у каждого своя жизнь. Границы, границы, границы, границы. Границы государств, границы тел. Границы, чорт побери, личностей. И вот он психанул, испугался и улетел. И теперь, в самом деле, не может без неё. Так он говорит. И вот она спрашивает «Что это было?». И все на форуме начинают писать. «Не верьте, это разводка — он потом и денег попросит», «Перверсивный нарцисс; хорошо, что открылось сейчас», «Да его, наверно, жена или другая баба раньше вызвали, и он, чтоб замаскировать, разыграл вам этот скандал». Понимаете? Десятки, даже сотни версий его лжи. От участливых людей. Мужчин и женщин. Которые сами — как это слово — натыкались? напарывались! И сами лгали. И которые готовы объяснить всё чем угодно. Любое объяснение! Но только не любовь.

Только не то, что с кем-то и правда случилось!.. То самое! Что кто-то для кого-то стал — уникальным; исключительным; незаменимым. (А ты что

уникальная, чтоб уникальной быть?). Но по-моему... быть-для-того-кто-важней-всего важней-всего — это важней-всего. И такой сокрушающий обман, если это обман. Простите, я плохо выражаюсь. Не мой язык. Моя психоаналитик мне предлагает работать с этой непродуктивной моей потребностью, но я не хочу, не могу. Я пишу на том форуме: «Что это было?», и хочу услышать одно: «Любовь». Хочу услышать одно: «То самое». «Ну, конечно, то самое, дурочка». Просто он правда любит тебя — это всё от любви, по любви. Тогда... тогда всё осмысленно, всё оправдано, всё существует. Я существую! Но какой же кошмар, если ложь. Тогда... тогда... «Что это было?». Что наш невероятный секс тогда? Физиологическая удача? Хорошая работа умных и натренированных тел с сильной половой конституцией? Да? А не горячечные сумасшедшие попытки прорваться под кожу, под кости, под все оболочки и трахаться душами, — нет?

И значит, это чувство, что когда он проникает в меня, из него льётся не семя, не только семя, но и кристальный сияющий луч, который заполняет меня всю и бьёт мне прям оттуда прямо в череп? И делает меня прозрачной и прекрасной! Нет? Обман?

И значит... просто смахивать, смахивать, смахивать, смахивать.

(Показывает полупощёчинами на своём лице, как смахивают влево и вправо Tinder.). Как в бесконечном приложении для бесконечных знакомств!
«Ааааа».

Я сама не верю, что я это говорю, сама не верила. Я стою в стеклянном лифте, посреди ночи, посреди декабря, подвешенная между землей и небом, и говорю какому-то пожилому фрику вот это всё? Про то, как я хочу, чтоб мой любимый хотел трахать меня в сердце?... В себе ли я? В уме ли я?
«Продолжайте, я прошу вас». Он тряс какую-то старомодную ручку в руке. Я вдруг увидела, что из цилиндра за его спиной явился лист бумаги. И какой-то планшет явился тоже. Только вот ручка не хотела писать. И он тряс ею в ужасной досаде. И потом возник шприц. «Не волнуйтесь, это инсулиновый», и — я не успела вскрикнуть, как он воткнул его в свою другую руку. «Не волнуйтесь, умоляю, продолжайте». Он выкачал из себя примерно вот столько крови. Как мне казалось, не переставая смотреть на меня. Какие-то быстрые, очень ловкие манипуляции, и вот он уже вкачал эту кровь в ручку, у которой наконечник и сам был, как мне показалось, острый, как игла. И издавал такие тихие тонкие, царапающие, как будто стонущие звуки по бумаге. Я плакала. Я стояла посреди декабря, посреди ночи, посреди снега между небом и землёй, как в стакане дурацкая соломинка, за которую он ухватился... Он бросал эти странные краткие взгляды. И мне казалось, что он смотрит сквозь меня. То есть не обидно сквозь, а... как будто сквозь кожу.

Мне на секунду показалось, он рисует мой скелет. И снежинки за мной, которые видны между рёбрами. Да нет, не скелет, другое. Как... как будто он слышит *СКВОЗЬ дурацкие слова, которыми я так стараюсь и ничего не могу выразить*, — то, что я хочу выразить. Такое было чувство. Я почувствовала, что что-то мешает. Мне хотелось помочь ему — проникнуть как можно глубже в меня. Ну, конечно! Я с раздражением ощутила на себе своё пальто, эту лишнюю кожу. Я с раздражением сбросила её. Свитер, маечку, лифчик, это было как на рентгене. Это было точно как на рентгене — вы же раздеваетесь там. Я стояла голая по пояс — в прозрачном стакане, в прозрачной раме стекла. Я просто стояла. А он рисовал.

...Лифт поехал. Естественно, как и следовало ожидать, лифт поехал. Он — как-то хрустнул, встал с корточек, подошёл и поцеловал меня в лоб. Вот и всё.

Я спросила, можно ли посмотреть? Он ответил: чтобы закончить, нужно ещё немного времени; и ещё немного крови. Он взял мой адрес. Почему-то почтовый адрес. Но так и не написал. ... вот до вчерашнего дня.

Он поцеловал меня в лоб. Я как будто очнулась. «Что это было?». «Что это было?» «Что это было?». Я стала одеваться. Я сказала, чтоб что-то сказать, что мне уже, наверно, не нужно наверх. Не нужно к психоаналитику. В том смысле, что... просто в том смысле, что опоздала, сеанс закончился. Он усмехнулся и сказал, что ему тоже, похоже, по крайней мере, сегодня, больше не нужно наверх. Я машинально бросила взгляд на панель с кнопками. И увидела, что кнопка, которую он нажал, которая горела... что эта кнопка... ну, в общем, это была кнопка крыши. Крыши!

...Я ничего не хочу сказать.

Я ничего не хочу сказать: может быть, он просто хотел посмотреть на город и снег с высоты. В тот вечер. И просто потом расхотел. Я не хочу сказать, что я спасла его. Это было бы слишком. Но я знаю, что на той картине я. *Я его кровью*. Хотя и многого не понимаю. Я не хочу сказать, что спасла его тогда, но я точно его не убивала. Не знаю, почему, не знаю почему, не знаю, почему он так написал.

ОНА-5.

Дочь Адама

Весь этот маскарадище — просто кринж — по дефолту. Рили: батлиться с этими alte Frau в цинизме — примерно как сесть с ними на баблос стримиться в Майнкафт. Или в Доту. Да они даже слов таких не знают, комон! Или забить им стрелу где-нибудь в Бергхайне, куда они тупо не пройдут фейсконтроль. Крипово? Вы бы, кстати, тоже не прошли, полюбас. А... а вы-то знаете эти слова? Оки, я врублю режим «не рофлить». Врублю транслэйтер. Комон. Не надо напрягаться. Я вас просто потроллила на минималочках. Я могу разговаривать на вашем языке. И ещё на парочке языков. *На языке любви. (Паясничает.)* Да вы не напрягайтесь так. Я буду паинькой.

Faltenparty. Вы знаете, что это? Праздник морщин. Так в Германии называют посиделки с родителями. Gammelfleischparty (Гамельфлайшпати) — вечеринка тухлятины. Вот именно такую я себе решила закатить на своё восемнадцатилетие. А чё?

Вы знаете, как говорят психологи? Единственное, ну ок, допустим, не единственное — минимальное; минимальное, но необходимое, что должен дать дочери отец — ? Ну, ваши версии. *(Сама ж моментально.)* - Досрочный ответ! Досрочный ответ. - Ладно, ладно, девушка, не выпрыгивайте из штанишек. Дадим вам слово. Так что ж? — ВОСХИЩЕНИЕ. - Бинго. Восхищение! Вы выиграли суперприз. Бессрочный абонемент в парк бессрочных оргазмов! А так же особый купон... *(Это всё сама разыграла.)* ...Ой, я смущаю вас, да? Что? Испанский стыд? Ну, вот вам крест: не хотела. Вот вам моя рука! *(жест тургеневской девушки.)* Ну не хотите как хотите. Так, не отвлекаемся!

Иииииитак! Восхищение. Остановимся на этом пункте поподробнее. Пятиминутка нудной лекции. Отец должен дать своей дочери веру, что она хороша. Вот и всё. Это сформирует правильное самоощущение, которое станет основой для дальнейших здоровых отношений с мужчинами. Если же девочка не получит этого в детстве, скорее всего, она начнёт себя обесценивать. Или — напротив — в качестве компенсации — искусственно завышать свою самооценку, самоутверждаться за счёт мужчин и мстить им за отсутствие этого столь необходимого для женщины фундамента. Вырывать с мясом из глоток своих *ни в чём неповинных жертв* то восхищение, которым в детстве её обделили. А что? Все претензии к папе. И счета, если можно тоже к нему.

«Как раз её случай», — подумали сейчас вы, глядя на меня. Заклинаю вас!! Давайте не будем спешить с выводами. Иииииитак. Мой папа восхищенья мне, допустим, не дал, — здесь всё в точку. Равно как и наследства, образования, родового гнезда, опеки, заботы, могучего пенделя, отеческого

подзатыльника, напутствия и путёвки в жизнь — что там ещё в наборе? Пришлось всё самой, всё самой. Он был очень занят своими аквариумами, переодеваниями, кораблями-выставками, выставками-призраками, иконами на домах под снос, эко-граффити на арктическом льду с целью привлечения внимания к проблеме глобального потепления, проектами покрытия мумий вождей сталагмитовой плёнкой по ускоренной технологии с целью возврата природе абсолютного зла, лабиринтом из женщин, своим инкогнито, своим бессмертием и чорта лысого в ступе чем ещё. («Чорта лысого» — так моя бабушка говорила.) О том, кто он, мама сказала мне в двенадцать. Надо ли говорить, что для этого ей пришлось ткнуть пальцем в экран тв? «Доченька, подойди-ка...». Фак. Такой стаааарый! Не отец, а целый дед. Он передавал космонавтам перед вылетом какую-то остохренительную фиговину, какой-то объект, который должен был зафигачен в космос и что-то там означать, символизировать, выразать, воплощать, и я не шарю чё ещё.

Я ничего не сказала маме. А ему я сказала: «Ох, папочка!». «Ох, папочка... Мы с тобой ещё встретимся. И совсе-ем на другой орбите». И, как пишут в романах, положила себе ждать до восемнадцати лет.

Гамельфлайшпати! Своё появление в его доме я возвестила во-от таким булыганом, который полетел в одно из этих сверкающих стёкол, благо в его доме одно сплошное сверкающее стекло. Вы, кстати, — отвлечемся — видели эти фотки после пожара? Они есть в инстарграме. Это, короче, шиза. Стекло там оплавилось, осыпалось, короче не вывезло. А опоры... Или как это сказать? Ну, эти конструкции металлические. Они-то выдержали. И, короче, это теперь как огромная клетка. Огромная клетка, и в ней пепел от всего. От всей его жизни. Вот эту акцию я заценила, это да. *Папочка* так любил свободу, а в итоге всё, что от него осталось — это клетка. Такая ещё 3D. С очертаниями всего внутреннего лабиринта. Целая воздушная тюрьма. Стекло, наверно, хрустит под ногами... Битые пиксели битой жизни — вот что.

Но давайте по порядку. Камень полетел в «окно», шмякнулся и оставил жирнющую трещину. То есть вот такое пятно трещин и линии трещин ещё от него. Я сделала это для сокращения времени. Чтобы можно было сразу начать с его чувства вины. И с чувства, что процесс расплаты уже запущен. Он был как будто даже и не против. Дочь так дочь. Сказал что-то вроде того, что трещина — шикарное начало для начала. Блин, до чего же избито, да? Я была приглашена жить в его аквариуме. Его жена — «Мисс Скука 1957» или как её там (если не 857)... она тогда уже переехала обратно в опустевший дом (по мне — дворец) своих родителей в другой части поместья. И к нему ездила на таком смешном садовом драндулете, называла его кар. Ко мне специального интереса она не проявила. А он меня не представил как дочь.

Подумала, наверно: так, очередная. Нюх её стал по ходу уже подводить. Вообще она ещё та штучка. Выставляет себя сейчас как сама мать Тереза. И, естественно, главная жертва его. Ну-ну. По мне так она где-то в последней десятке. Всю жизнь доила его славу. Прямо как пиявка такая сю-сю-сю. Кто б её знал вообще, если б не он. Кому б она вообще была интересна. Подставка для брюликов. Ладно, щас не о ней.

Иииииитак. Он сразу пригласил меня с собой в одно путешествие. Что я буду мстить — я особенно не скрывала. Честная игра — ха-ха. Я смотрела в его глаза с вызовом и ненавистью. Он как будто присматривался ко мне. Когда я как будто не видела. Честная игра — да. Честная в том смысле, что я пустила в ход все средства обольщения. Показать вам небольшой этюд? Ладно, здесь есть семейные люди — не буду.

А как мне ещё было отомстить? Мне нужно было восхищение. Его восхищение — всё сразу, всё за восемнадцать лет. Всё, чего я была лишена, всё, что он раздавал всем другим так щедро. Всем другим, но только не мне. Мой расчёт был верен. Он попался. Попался и у него сразу стали квадратные глаза. Потому что похождения похождениями, но у него была мораль некоторая. Некоторая покрытая паутиной вперемешку с нафталином мораль. А тут. Захотеть свою дочь! Он стал ходить в квадратными глазами и ходить как шахматный конь. То есть от меня так... так... Буквой Г от меня. Это было очень комично. То есть если в первые вечера ещё галантно под ручку держал, пока думал, что в безопасности... То потом... И как будто всё время прислушивался к себе. Принюхивался. Как будто надеялся, что показалось. Куда там! Кстати, на его же деньги я накупила себе ещё на берегу самых вызывающих платьев, самых феромоновых духов. И стала носить только их. А свои все выбросила. А мы были в круизе. Других было негде взять. Но это меньшее, что я могла сделать. И вот одним вечером (скажем в скобках после одной моей маленькой подбадривающей интрижки на стороне) он завёл серьёзный разговор. Как он прокашливался — боже мой. Как будто его проклинали на рудниках! Он сказал, что заведёт счёт на моё образование, что купит дом мне где я скажу и так далее, и приданное, и вся фигня. Только в ближайшем порту мы должны навсегда разъехаться. Я плеснула ему шампанским в лицо. «Отец!» Я сказала ему! «Отец, мне не нужны твои деньги, мне нужен ты!». Аплодисменты. Аплодисменты. Нет, ну правда. Не хотите? Ну, ладно. Ну, скажите хотя б: вы поверили? Серьёзно? Поверили? А вы? Нет? Да? Поверили в эту шляпу? Мои поздравления. Я же с самого начала сказала: маскарад. Так вот: он тоже поверил. И зря. Никакой он мне не отец. Мой отец — вообще другой человек. Вообще другой. Я всё придумала. Зачем я всё это сделала? Слушайте дальше — это ещё не всё.

«Я всё придумала», — шепнула я ему, когда после вопля «Отец, мне нужен ты», он обнял меня в последний раз, как он считал, и зашмыгал носом. «Я всё придумала. Ты не мой отец. Я... просто... давно тебя полюбила. Понимаешь? Это был единственный шанс подобраться к тебе. Нет-нет-нет. Никаких поцелуев. Не сейчас. Не сейчас. Не здесь. Я и правда сойду на берег в ближайшем порту. И поеду к тебе. И буду ждать тебя там. Буду готовиться к нашей встрече». Двойное счастье: он не хочет свою дочь! и та, кого он хочет, его любит. Бинго!

Иииииитак. Я поехала первой, он — за мной. Что он встретил у входа той ночью? — клубок Ариадны. Совсем маленький клубочек, потому что ниточка из него уже была пропущена мной через весь лабиринт его дома. Тёмные закоулки, свечи. Он сматывал клубок, он шёл ко мне. Ясон шёл к своей девочке. (Видите, я слукавила — у меня нормальное образование). Что ж он встретил на том конце? Ну, конечно же, Минотавра. С роскошным мускулистым «Минотавром» эфиопских кровей я совокуплялась в его постели. В его стеклянной спальне при полной иллюминации, за запертой дверью. Куб любви! Что оставалась ему? Только биться до трещин в прозрачные стены. Как пленённый кот, как летучая мышь...

Фух. Ещё аплодисменты? Нет? Не хотите? «Зачем я это сделала», — хотите опять спросить? А я состою в тайном клубе, в ордене. Орден «Эринии» — мы — мстим. Мстим мужчинам, которые используют женщин. Вот и всё. Вот и вся разгадка. И он, я скажу вам, был мой лучший пока проект. Вот и всё. Cheers!

Я вам всё это рассказала, потому что заинтересована в том, чтоб вы были на моей стороне. Для подстраховки. Ну, как «на моей стороне»? Чтоб вы понимали, что я гора-аздо сильнее всех их, остальных. И если кто и мог убить его, так это я. Без вариантов. Ну, не сомневаюсь, что на его холсте обнаружится самое буквальное *отражение* этого. М-да. Средства от продажи моего бесценного портрета его бесценной кисти пойдут в фонд нашего общества. Уверяю вас. Обо всём будет опубликован подробный отчёт. Я шучу, естественно. Никакого отчёта не будет.

ФИНАЛ.

В любой последней комнате, когда героиня только входит во вкус истории,

раздаётся, допустим, телефонный звонок. И ей говорят, допустим, что в комнате спрятан конверт для неё. И она находит конверт. И читает письмо от него.

Письмо от него.

«Моя дорогая девочка! Прежде всего, хочу тебе сказать, что ты прекрасна. Впрочем, это я знал всегда. Значит, на этом пункте нечего расслаживаться. Затем: хочу сказать тебе, что я жив. Или нет. Это в общем, неважно. В определенном смысле я, бесспорно, абсолютно точно жив. И отчасти благодаря тебе, конечно. Далее: конечно, никакой картины нет. Картина — наживка, приманка — я каюсь. Если ты на минутку задумаешься, то поймёшь: ну, какая картина? После всего, что я делал и не делал в моей такой комедийной и такой восхитительной жизни, оставлять после себя *картину?* — ну что за чушь. Я оставляю после себя тебя, моя дорогая. Тебя как шедевр, как шедевр. Твой монолог, твой траур, твои слёзы, твоя правда и твоя ложь, вызванные к жизни моей смертью. Бесценное произведение искусства. Как и те другие. Они, другие, те. Я оставляю после себя выставку. Вот эту выставку. Свою лучшую выставку, может быть. Выставку вас. И я счастлив этим. Ты только не сердись. И не смотри на это как на какой-то ироничный жест. Ты же такая умница. И ты же знаешь: к старости я почти разучился иронии; как и весь этот мир. Это сентиментальный и искренний жест, жест любви, если хочешь. Мой подарок тебе, мой подарок всем вам — постамент. Вы больше не модели мои, мои девочки, вы и есть акт искусства. Благословляю вас и отпускаю вас».

- Это финал.